

ОЧЕРКИ ГОГОЛЕВСКОГО ПЕРИОДА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(Сочинения Николая Васильевича Гоголя. Четыре тома.
Издание второе. Москва, 1855.

Сочинения Николая Васильевича Гоголя,
найденные после его смерти.

Похождения Чичикова или Мертвые души.
Том второй (пять глав). Москва, 1855)

СТАТЬЯ ПЯТАЯ

Критикою «Телескопа»¹ было положено основание критике гоголевского периода. Это внутреннее родство мысли выразилось и внешним образом в первоначальных отношениях людей, из которых одному досталось на долю начать, а другому — совершить дело водворения у нас справедливых литературных понятий. Но как впоследствии времени эти люди стали чужды друг другу, так и мысль, через них выражавшаяся, достигнув полного развития в слове бывшего ученика, раскрыла в себе содержание, существенно различное от того, что обнаруживала в первых, еще несовершенных своих проявлениях у бывшего учителя². Коренные черты родства между этими двумя ее фазисами указать очень легко: стоит только припомнить общую точку зрения критики Надеждина. Существенным основанием всех его воззрений служили идеи, вырабатывавшиеся германскою философиею. Сообразно духу этой философии, он рассматривал литературу, как одно из частных проявлений общей народной жизни, в связи с другими сторонами жизни; требовал, чтобы она сознала свое назначение — быть не праздною игрою личной фантазии поэта, а выразительницею народного самосознания и одною из могущественнейших сил, движущих народ по пути исторического развития. Вследствие таких высоких понятий о назначении литературы, немецкая философия поставляла необходимостью, чтобы в ее произведениях значительность идеи, без которой форма пуста, соединялась с художественностью формы, осуществляющей идею. От этих эстетических аксиом критика гоголев-

ского периода никогда не отступала. Напротив, чем более она развивалась, тем глубже, полнее и сильнее понимала и выражала эти идеи. Сходство, как видим, заключалось в одинаковости общего начала. Оно очень значительно; его можно назвать настоящим кровным родством. Различие было еще гораздо более важно. Оно зависело от степени развития этого общего начала; оно состояло в глубине и целостности воззрения, в последовательности его приложений и в важности выводов, какие давало его применение к фактам, представляемым литературою. Чтобы видеть, какое огромное расстояние, уже по необходимости, лежавшей в духе времени, не говоря о причинах различия, зависевших от личного характера критиков, отделяло критику гоголевского периода от критики «Телескопа», надобно сообразить, какому изменению подверглись в своем прогрессивном движении те элементы нашей умственной жизни, из взаимного проникновения которых слагается критика, с той поры, когда кончилась журнальная деятельность Надеждина (1834—1836), до той эпохи, когда критика гоголевского периода достигла (1844—1847) крайних пределов развития, положенных ей не столько границами сил и слишком кратковременной жизни человека, бывшего главным ее представителем (силы эти были огромны и раскрывались перед нами далеко не во всей полноте), сколько границами потребностей и требований нашей публики. Надобно припомнить ход постепенного развития у нас научных понятий и литературы в этот период времени, очень непродолжительный, обнимающий всего каких-нибудь двенадцать лет, но ознаменованный в нашей умственной жизни многими очень важными фактами.

Надеждин ввел в наше литературное сознание идеи, выработанные немецкою философиею *. Это заслуга очень

* Задолго до Надеждина немецкая философия имела последователей между русскими учеными. Особенного внимания заслуживает то, что ею с любовью занимались в наших духовных академиях. По случаю издания «Логики» Бахмана в русском переводе Надеждин говорит («Молва», 1832, № 20), что в одной из наших духовных академий давно уже переведены сочинения Канта, Шеллинга, Фихте, Якоби. Позднее, в Киевской духовной академии, история философии от Канта до Гегеля преподавалась по известному сочинению Мишелета (берлинского). Имена высокопреосвященного Филарета, митрополита московского, и преосвященного Иннокентия одесского должны занимать в истории философии у нас такое же место, как и в истории богословия. Всем известны заслуги протоиерея Ф. А. Голубинского. Из светских ученых, до Надеждина,

важная. Но Надеждин был последователем Шеллинга, и если принадлежал, как мы говорили, к тем из учеников этого философа, которые развивали его понятия сообразно духу времени, то все, однако же, в сущности оставался учеником Шеллинга. Но система этого мыслителя сама по себе неудовлетворительна, и главное значение ее состоит только в том, что она была зародышем, из которого развилась система Гегеля. Этого философа Надеждин, как по всему видно, никогда не признавал своим руководителем, считая его не более, как даровитым последователем Шеллинга. Понять Гегеля, который дал истинный смысл и настоящую цену неопределенным и отрывочным мыслям Шеллинга, было предоставлено уже следующему поколению, обратившемуся к изучению немецкой философии отчасти по самостоятельному стремлению, отчасти, конечно, благодаря деятельности Надеждина и Павлова. Несколько времени эти юноши абсолютную истину считали учение Гегеля в таком виде, как излагал его этот мыслитель. Но скоро познакомились они с сочинениями учеников Гегеля, которые, с строгою последовательностью развивая существенные идеи учителя, отвергли все, что в его системе противоречило этим основным принципам, и, наконец, преобразовали его систему так, как прежде он преобразовал систему Шеллинга. Без всякого преувеличения, надобно сказать, что так называемую школу Гегеля образовано было совершенно новое философское учение, которому система самого Гегеля служила не более, как предшественницею, только в этом учении получившее свой смысл и оправдание. Тем завершилось развитие немецкой философии, которая, теперь в первый раз достигнув положительных решений, сбросила свою прежнюю схоластическую форму метафизической трансцендентальности и, признав тожество своих результатов с учением естественных наук, слилась с общей теориею естествоведения и антропологию³

Тогда и увлечение системою Гегеля, которому на время

нельзя не вспомнить о Фесслере, Велланском и в особенности И. Я. Креберге и М. Г. Павлове. Последний имел даже значительное влияние на молодое поколение, воспитывавшееся в Московском университете, и ему, быть может, даже более, нежели Надеждину, принадлежит слава распространения любви к философии между молодыми литераторами, о которых мы будем говорить. Тем не менее, когда выступил Надеждин, немецкая философия не только для большинства публики, но и для большей части образованнейших писателей наших оставалась еще предметом неслыханным и непостижимым.

совершенно подчинялись молодые русские приверженцы немецкой философии, уступило место новым воззрениям, высказанным его учениками. Предмет этот имеет высокую важность для истории нашей литературы, потому что из тесного дружеского кружка, о котором мы говорим и душою которого был Н. В. Станкевич, скончавшийся в первой поре молодости, вышли или впоследствии примкнули к нему почти все те замечательные люди, которых имена составляют честь нашей новой словесности, от Кольцова до г. Тургенева. Без сомнения, когда-нибудь этот благороднейший и чистейший эпизод истории русской литературы будет рассказан публике достойным образом. В настоящую минуту еще не пришла пора для того.

Таким образом, в течение семи или восьми лет научные понятия, на которых должна основываться критика, прошли два великие фазиса развития и достигли той окончательной ясности, полноты и последовательности, которой недоставало им в системе самого Гегеля, не только в системе Шеллинга, содержавшей не более, как отрывочные и неопределенные зародыши того, что было высказываемо Гегелем. И если Шеллинг в настоящее время имеет значение только как непосредственный учитель Гегеля, то и сам Гегель, в свою очередь, имеет значение только как предшественник стройного и полного учения, выработанного его школою из тех принципов, которые в его системе высказывались не более, как в виде темных предчувствий, оставались без приложений и даже были подавляемы противоречащими их существенному смыслу трансцендентальными понятиями, наследием одностороннего идеализма. Только трудами новейших немецких мыслителей философия получила содержание, соответствующее требованиям точных наук, и основалась, подобно естествоведению, на строгом анализе фактов.

Но немецкая философия занималась по преимуществу только самыми общими и отвлеченными научными вопросами. Принципы общей системы воззрений на мир были, наконец, найдены ею и приложены к разъяснению нравственных и отчасти исторических вопросов; зато другие части науки, не менее важные, оставляемы были в Германии без особенного внимания, — преимущественно должно сказать это о практических вопросах, порождаемых материальною стороною человеческой жизни. Французских мыслителей занимали всегда эти предметы более, нежели немецких, но очень долго не постигались ими во всей глу-

бипе и разрешались или поверхностным, или фантастическим образом. Наконец, когда результаты немецкой философии проникли во Францию, а наблюдения, собранные французами, в Германию, пришло время искать положительных и точных решений. Тогда односторонность науки исчезла; ее содержание было уяснено относительно всех ее существенных задач. Материальные и нравственные условия человеческой жизни и экономические законы, управляющие общественным бытом, были исследованы с целью определить степень их ответственности с требованиями человеческой природы и найти выход из житейских противоречий, встречаемых на каждом шагу, и получены довольно точные решения важнейших вопросов жизни. Этот новый элемент также вошел в наше умственное развитие; критика воспользовалась им, и ее основные воззрения во многих случаях получили большую определенность и жизненность.

Таков был ход науки вообще. Мы, насколько то было возможно, следовали развитию общечеловеческих понятий, которые под конец периода, здесь обозреваемого, нimalo уже не походили на то, что было нам известно в его начале. Те отрасли науки, которые, имея предметом русский мир, должны быть обрабатываемы силами русских ученых, также сделали в этот промежуток времени очень значительные успехи, преимущественно русская история, от истинных понятий о которой так много зависит и справедливое понимание исторического хода нашей литературы. Около 1835 года, мы, подле безусловного поклонения Карамзину, встречаем, с одной стороны, скептическую школу, заслуживающую великого уважения за то, что первая стала хлопотать о разрешении вопросов внутреннего быта, но разрешавшую их без надлежащей основательности; с другой — «высшие взгляды» Полевого на русскую историю, — через десять лет, ни о высших взглядах, ни о скептицизме нет уже и речи: вместо этих слабых и поверхностных попыток, мы встречаем строго ученый взгляд новой исторической школы, главными представителями которой были гг. Соловьев и Кавелин: тут в первый раз нам объясняется смысл событий и развитие нашей государственной жизни. Около того же времени или несколько раньше подвергается основательному исследованию вопрос о значении важнейшего явления нашей истории — реформы Петра Великого, о которой до того време-

ни повторялись только наивные суждения Голикова или Карамзина. Нет надобности объяснять, как тесно связан с этим делом участь общего взгляда на нашу литературу. Издания Археографической комиссии дали каждому возможность изучать русскую историю по источникам. Самые упорные противники всего нового соглашались, что изучение русской истории сделало значительные успехи в течение десяти или двенадцати лет, о которых мы говорим.

Но ближайший предмет критики, русская литература, изменилась еще значительнее. Пушкин явился в совершенно новом свете, когда по смерти его обнародованы были произведения, в художественном отношении превышающие все, что было им напечатано при жизни. Гоголь напечатал «Ревизора». Явились Кольцов и Лермонтов. Все прежние знаменитости померкли перед этими новыми. Явилась новая школа писателей, образовавшихся под влиянием Гоголя. Гоголь издал «Мертвые души». Почти в одно время явились «Кто виноват?», «Бедные люди», «Записки охотника», «Обыкновенная история», первые повести г. Григоровича. Переворот был совершенный. Литература наша в 1847 году была так же мало похожа на литературу 1835 года, как эпоха Пушкина на эпоху Карамзина.

В литературах Западной Европы также совершались великие перемены. Виктора Гюго, Ламартина и Шатобриана, которых прежде считали величайшими поэтами нашего века, стали находить слишком фальшивыми, приторными или натянутыми, их не только перестали превозносить, перестали даже бранить. Вместо их, первую славою французской литературы явилась Жорж Санд, с которой началась совершенно новая эпоха. В английской литературе, вместо исторических романов Вальтера Скотта, этнографических романов Купера и фешенебельных изданий Бульвера, общее внимание привлекли романы Диккенса. В немецкой литературе не нашлось преемников не только Гете, но даже и Гофману. В тридцатых годах славу немецкой поэзии отчасти поддерживал Гейне; но скоро и он оказался человеком отсталым от своего времени; о немецкой беллетристике в сороковых годах не было и слухов за границами немецкой земли. Эти факты должны были оказать сильное влияние на понятия об искусстве: кто прочитал и умел оценить Диккенса и Жоржа

Санда, тот не так будет понимать литературу, как поклонник Вальтера Скотта и Купера, не говоря уже о Ламартине и Викторе Гюго.

Словом, все кругом совершенно переменялось, и более всего переменялись именно те элементы нашей умственной жизни, от которых непосредственно зависят характер и содержание критики: научные понятия, служащие ей основанием, и отечественная литература.

Условия, в которых действовала критика гоголевского периода, были, как видим, столь новы, что, по необходимости, возлагаемой самою сущностью дела, она должна была раскрывать собою для нашего литературного сознания совершенно новое содержание. Понятия, на которые она должна была опираться, факты, о которых должна была судить, до такой степени превышали своею глубиною и значительностью все, о чем прежде могла говорить русская критика, что все предшествовавшие ей периоды нашей критики должны были померкнуть в наших глазах, как маловажные в сравнении с нею.

Главным деятелем критики гоголевского периода был Белинский. Читатели, быть может, извинят нас, что в настоящей статье мы не даем ни биографических сведений об этом писателе, ни даже его характеристики, потому что сообщение биографических подробностей не входит в план наших «Очерков», ограничивающихся только рассмотрением произведений и не вдающихся в исследования о частной жизни и личном характере писателей. Мы сами первые чувствуем неполноту и, так сказать, отвлеченность этого плана и утешаемся только тем, что и неполный и сухой разбор все-таки имеет некоторое, хотя временное, значение, пока не являются труды более живые и полные. — Впрочем, при изложении развития и смысла критики гоголевского периода, быть может, менее, нежели в каком бы то ни было другом случае, чувствуется потребность в биографических соображениях: в делах, имеющих истинно важное значение, сущность не зависит от воли или характера, или житейских обстоятельств действующего лица; их исполнение не обуславливается даже ничьей личностью. Личность тут является только служительницею времени и исторической необходимости.

Кто вникнет в обстоятельства, среди которых должна была действовать критика гоголевского периода, ясно поймет, что характер ее совершенно зависел от истории

ческого нашего положения; и если представителем критики в это время был Белинский, то потому только, что его личность была именно такова, какой требовала историческая необходимость. Будь он не таков, эта непреклонная историческая необходимость нашла бы себе другого слугителя, с другою фамилиею, с другими чертами лица, но не с другим характером: историческая потребность вызывает к деятельности людей и дает силу их деятельности, а сама не подчиняется никому, не изменяется никому в угоду. «Время требует слуги своего», по глубокому изречению одного из таких слуг.

Итак, оставим в стороне личность Белинского: он был только слугою исторической потребности, и с пашей отвлеченной точки зрения нас интересует только развитие содержания русской критики, во всем существенно важном с необходимостью определявшееся обстоятельствами, созданными историею. И если мы будем иногда упоминать имя Белинского, говоря о той или другой идее, то вовсе не потому, чтобы собственно от его личности зависело выражение этой идеи: напротив, в том, что есть существенного в его критике, лично ему, как отдельному человеку, принадлежат только те или другие слова, употребление того или другого оборота речи, но вовсе не самая мысль: мысль всецело принадлежит его времени; от его личности зависело только то, удачно ли, сильно ли высказывалась мысль.

* * *

Белинский явился на литературное поприще сотрудником Надеждина, как его ученик и продолжатель. Начал он с того самого, на чем остановился Надеждин, — с чрезвычайно резкого и горького отрицания всей нашей литературы, до самого Гоголя, который и сам тогда еще не доказал, что его деятельность положит конец этому отрицанию. Первая значительная статья нового критика — «Литературные мечтания. Элегия в прозе», — помещенная в «Молве»⁴ 1834 года, имеет самый мрачный и беспощадный тон. Уже заглавие указывает на ее прямое происхождение от «Литературных опасений» Надеждина, намекает, что наша так называемая литература не более, как мечта, и говорит, что думать о ней значит наводить на себя тоску.

Еще резче высказывают общее направление статьи эпиграфы, выставленные над нею. Их два:

Я правду о тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи.

Грибоедов, «Горе от ума».

«Есть ли у вас хорошие книги?» — Нет; но у нас есть великие писатели. — «Так, по крайней мере, у вас есть словесность?» — Нет, у нас есть только книжная торговля.

Барон Брамбеус⁵.

Статья, объявляющая о своем содержании таким заглавием и такими эпиграфами, включает обзор всей истории нашей литературы от ее начала до 1834 года. Нужно ли говорить, что она совершенно уничтожает ее? Вообще, только четыре писателя, по мнению автора, имеют право называться русскими писателями: Державин, Пушкин, Крылов и Грибоедов. Да и те — что такое успели сделать? Державина спасло от совершенной пустоты только его невежество, — а невежество может ли создать что-нибудь хорошее? Пушкин показал, что у него есть великий талант, но не произвел ничего, достойного своих сил, а теперь (1832—1834) не печатает ничего хорошего: «теперь он умер или, быть может, только обмер на время, — судя по «Анджело» и сказкам, умер». Крылов хорош в баснях — важное богатство для литературы! Грибоедов написал одну комедию, в которой главное достоинство — едкость, а не художественность. Итак, у нас еще нет литературы. Могут ли четыре человека составлять литературу, особенно если явились, как то было у нас, случайно, без предшественников и продолжателей? Литература явится у нас тогда, когда просвещение укоренится на нашей почве; а теперь нам рано и думать о такой роскоши. «Теперь нам нужно учение! учение! учение! а не литература». Тем же духом проникнуто и другое обозрение, явившееся в «Телескопе» через полтора года (1836). Существенная мысль его достаточно выражается самым заглавием: «Ничто о ничем, или отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы». Но Гоголь и Кольцов («Миргород», «Арабески» и «Стихотворения Кольцова» явились в 1835 году) уже вынуждают у автора некоторые уступки в пользу надежды на близость лучшей будущности. Обоих он приветствовал с восторгом, и с самого начала, когда самые проникательные из других ценителей

еще не замечали Кольцова и отзывались о Гоголе с благосклонною снисходительностью, как о человеке, который пишет очень порядочно, он уже оценил их вполне, увидел в их первых произведениях начало новой эпохи для русской литературы и предсказал, какое высокое место они займут в ней. А между тем, Кольцов тогда напечатал только маленькую тетрадку с восемнадцатью пьесами, из числа которых разве шесть или семь были удачны, а Гоголь издал только «Миргород» и «Арабески», ни «Ревизора», ни большей половины его повестей, ни драматических сцен еще не было, — и, однако же, молодой критик не усомнился и тогда назвать его «главою нашей литературы». Эта проницательность, впрочем, покажется нам совершенно естественною, если мы захотим сообразить, что молодому сотруднику Надеждина были даны природою силы сделаться главою нашей критики в начинавшемся тогда новом периоде: само собою разумеется, что он только потому и исполнил свое назначение, что был готов к нему, что носил в своей душе идеал будущего, истолкователем которого был, когда оно осуществилось: трудно ли человеку, наполненному предчувствием, узнать и оценить с первого же взгляда то, чего он ждал, о чем мечтал? Вообще, человек очень легко понимает все сродное с его собственной натурою*.

В этом открываются уже решительные признаки самостоятельности Белинского при самом начале его деятельности, когда он, по-видимому, еще совершенно следовал влиянию своего учителя. На Кольцова Надеждин не обратил внимания; а что касается первых повестей Гоголя, он понимал, что «Вечера на хуторе» и «Миргород» — произведения прекрасные, но всей важности этих явлений не замечал: находил их автора замечательным писателем, от которого надобно ожидать много прекрасного, но и не предполагал в нем корифея совершенно новой будущности. Эта разница объясняется тем, что один в душе совершенно был человеком нового периода, в уме другого

* Вот существенные места из замечательной статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя»: «Арабески и Миргород» («Телескоп», т. XXVII).

«Роман и повесть суть единственные роды, которые появились в нашей литературе не столько по духу подражательности, сколько вследствие потребности... Роман все поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладила даже и следы всего этого, и сам роман с почтением посторонился и дал ей дорогу впереди себя. В русской литературе повесть еще гостя, но гостя, которая вытесняет давнишних хозяев из их жилищ...»

стремление к будущему боролось с привычками прошедшего и если побеждало их, то после борьбы, помощью умозаключений и соображений, а не мгновенным инстинктивным влечением родственной натуры.

У нас еще нет повести в собственном смысле этого слова... Первенство поэта-повествователя остается за г. Полевым. Но в его повестях есть один важный недостаток: в них заметно большое участие ума, для которого самая фантазия есть как бы средство (т. е. *они сочинены, а не созданы, в них нет поэтического творчества*). Посмотрим, нет ли между нашими писателями такого, который был бы поэт по призванию... Мне кажется, что из современных писателей — я не включаю в это число Пушкина, который уже свершил круг своей художнической деятельности (так тогда думали, потому что после «Бориса Годунова» Пушкин в течение пяти или четырех лет печатал мало замечательного), никого не можно назвать поэтом с большою уверенностью и нимало не задумываясь, как г. Гоголя...

Способность творчества есть великий дар природы. Творчество бесцельно с целью, бессознательно с сознанием, свободно с зависимостью. Вот его основные законы. (*Излагается эстетическая теория немецкой философии, введенная к нам Надеждиным.*)

Очень нетрудно к этому приложить сочинения г. Гоголя, как факты к теории. Скажите, какое впечатление прежде всего производит на вас повесть г. Гоголя? Не заставляет ли она вас говорить: «Как все это просто, обыкновенно, естественно и верно и вместе, как оригинально и ново!» Не удивляетесь ли вы и тому, что вам самим не пришла в голову та же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этих же самых лиц, так обыкновенных, так знакомых вам, и окружить их этими самыми обстоятельствами, так повседневными? Вот первый признак истинно-художественного произведения. Потом, не знакомитесь ли вы с каждым персонажем его повести так коротко, как будто вы давно знали его, долго жили с ним вместе? Не верите ли вы на слово, не готовы ли вы побожиться, что все рассказанное автором есть чистая правда, без всякой примеси вымысла? Какая этому причина? Та, что эти создания озаменованы печатью истинного таланта. Эта простота вымысла, эта нагота действия — верные признаки творчества. Это поэзия реальная, поэзия жизни действительной... И возьмите почти все повести г. Гоголя: какой отличительный характер их? Что почти каждая из его повестей? Смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами, и которая, наконец, называется жизнью. И таковы все его повести: сначала смешно, потом грустно. И такова жизнь наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!

В художественных произведениях должно различать характер творчества, общий всем изящным произведениям, и характер колорита, общенный индивидуальностью автора. Я уже сказал, что отличительные черты характера произведений г. Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность, — все это черты общие, потом комическое одушевление, побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния — черта индивидуальная.

Комизм, или юмор, г. Гоголя имеет свой особенный характер: это юмор чисто русский, спокойный, простодушный, спокойный в самом своем негодовании, добродушный в самом своем лукавстве...

«Портрет» есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде.

Сотрудничество с Надеждиным оставило навсегда довольно резкий отпечаток на некоторых привычках критики гоголевского периода. Самою существенною из этих принятых по наследству особенностей была беспощадная и непрерывная полемика против романтизма. У Надеждина она была едва ли не самою главною задачею всей критики и, очевидно, проистекала из самого положения нашей литературы. С первого взгляда может показаться, что через десять лет в этих непрерывных филиппиках уже не было настоящей надобности. Романтизм, по-видимому, уже перестал быть опасным, его пора было бы оставить в покое, и несправедливо было бить лежачего врага. Но это заключение окажется ошибочно, если мы пристальнее вникнем в сущность дела. Во-первых, романтизм сделал только наружные уступки, отказался от своего имени, не более, но вовсе не исчез и очень долго старался оспаривать победу у нового направления; он имел еще много последователей в литературе и многих приверженцев в публике. Чтобы указать на факт, относящийся уже к самому последнему времени критики гоголевского периода, припомним, какую ожесточенную и всеобщую вражду встречена была от всех журналов (кроме «Отечественных записок» и потом «Современника») натуральная школа, которая на самом деле, а не только на словах, отказалась от романтических прикрас: все возмущались тем, что она описывает действительную жизнь в ее истинном виде, а не

Здесь его талант падает; но он и в самом падении остается талантом. Вообще, надобно сказать, что фантастическое как-то не совсем дается г. Гоголю.

Какой же общий результат выведу я из всего сказанного мною? Если я сказал, что г. Гоголь поэт, я уже все сказал, я уже лишил себя права делать ему судейские приговоры. У нас много писателей, некоторые даже с дарованием, но нет поэтов. *(Пушкина автор исключил, как мы видели, из числа действовавших тогда писателей.)* Поэт — высокое и святое слово; в нем заключается неумирающая слава!.. Задача критики: определить степень, занимаемую художником в кругу своих собратьев. Но г. Гоголь только еще начал свое поприще; следовательно, наше дело вы сказать свое мнение о его дебюте и о надеждах в будущем, которые подает этот дебют. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным и высоким. По крайней мере, в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным.

Поэты бывают двух родов: одни только доступны поэзии, у других дар поэзии есть нечто составляющее нераздельную часть их бытия. Первые иногда один раз в целую жизнь выскажут какую-нибудь прекрасную поэтическую грезу и ослабевают в последующих своих произведениях. Другие с каждым новым произведением возвышаются и крепнут. Г. Гоголь принадлежит к числу этих последних поэтов: этого довольно!»

повествует о небывалых в мире злодеях и героях и невиданных красотах природы, — все эти нападения происходили из привязанности к преданиям романтизма. Да и до сих пор романтизм еще живет во всех тех, которые, по добродушной робости или по любви к мишуре, не любят правды, высказываемой без прикрас, и находят, что как поле красно рожью, так речь — ложью, что отрицание бесплодно, что, впрочем, оно уж сделало свое дело, что пора нам обратиться к более благосклонному взгляду на жизнь, и т. д., т. е. тоскуют по блаженной поре Гремидных и Лариных, с прочими аркадскими принадлежностями. Если вы хотите испытать, на самом ли деле много еще осталось у нас романтиков, есть для того средство очень легкое: пробный камень для романтизма — критика гоголевского периода; кто не доволен ее мнимою излишней суровостью (разумеется, не по каким-нибудь личным расчетам или лицемерию — о подобных людях нечего и говорить — а по искреннему убеждению), в том не умер романтизм. А таких людей еще набирается довольно много⁶. Ныне можно не обращать на них внимания: для большинства публики их мнения забавны и только, а никак не опасны. Пятнадцать лет тому назад было не то: мнения, которые ныне составляют лишь забаву, утешающую отдельных людей, не имеющих влияния на публику, были очень сильны в литературе. Стоит припомнить, как один из тогдашних критиков не хотел печатать повестей Гоголя в журнале, которому давал направление, и не хотел даже писать разбора его комедии, считая эту пьесу низким фарсом⁷. Основанием его наивных понятий были, конечно, романтические требования возвышенных страстей и идеальных личностей в искусстве. А этот критик в то время считался представителем современной науки. Каковы же были понятия других литературных судей, даже и не подзревавших в искусстве ничего, кроме французских мелодраматических изделий? «Отечественные записки» одни боролись против всех журналов, в этом случае продолжая дело «Телескопа».

Но борьба с романтизмом, которая в критике гоголевского периода более всего остального могла бы казаться простым продолжением мысли Надеждина, сохранила только наружное сходство с его филиппиками, получив мало-помалу совершенно новое содержание. Надеждин восставал против романтизма с учено-литературной точки зрения, доказывая только, что французский новейший романтизм так же мало похож на романтизм средних веков,

как псевдо-классическая литература на греческую, и потому, подобно ей, присваивает себе ложное имя, а собственно должен считаться не более, как псевдо-романтизмом, жалкой подделкой под истинный романтизм, невозможный в наше время, и потому прославленные псевдо-романтические произведения нелепы в эстетическом отношении. Эту отвлеченную точку зрения ограничивалась его полемика. Критика гоголевского периода смотрела на вопрос шире: она восставала на романтизм как на выражение натянутых, экзальтированных, лживых понятий о жизни, как на извращение умственных и нравственных сил человека, ведущее к фантазерству и пошлости, самообольщениям и кичливости. Надеждин и не предчувствовал, что сущность псевдо-романтизма заключается не в нарушении эстетических условий; а в искаженном понятии об условиях человеческой жизни; он сам не был свободен в этом отношении от заблуждений, которые ничем не отличались от основной ошибки романтиков, считавших только колоссальные страсти и эффектные явления достойными внимания поэта. Хорошо понимая мелочность того, что романтики воображали себе титаническим, Надеждин слишком склонен был искать поэзию в одном только возвышенном, далеко превышающем явления обыкновенной действительности. Не нужно говорить о том, как мало могли подходить под этот идеал писатели, подобные Диккенсу или Гоголю, изображающие повседневную жизнь, — да и не было таких поэтов во времена Надеждина. Все были тогда экзальтированы или старались прикинуться экзальтированными, — разочарованность была только особенным и едва ли не самым натянутым родом экзальтации, — никто не догадывался о лживости экзальтированного взгляда на жизнь. Потому-то и недовольство романтизмом возбуждалось более формальными недостатками его произведений, нежели фальшивостью основного его взгляда на жизнь. Только следующему поколению, воспитанному более положительною философиею и наслаждавшемуся более здоровыми созданиями искусства, предоставлено было восстать против романтических фантазий не с одной литературной, но и с житейской точки зрения. Словом, Надеждин имел дело с романтизмом, как противуэстетическим явлением в литературе; критика гоголевского периода, разделяя этот взгляд, обращала главное свое внимание на романтиков, как людей, губящих жалким образом свои силы, как на людей, по заблуждению делающихся вредными для самих себя и смешными. Она

заклеймила осмеянным именем романтизма всякую аффектацию, натянутость, болезненную апатию, величающую себя гордым разочарованием, всякую пошлость, прикрывающую себя пышными фразами, всякую реторику в словах и делах, в чувствах и поступках. Борьба с этим романтизмом должна быть вменена в заслугу исключительно ей. В этом деле критика гоголевского периода не имела предшественников и своими едкими насмешками оказала несомненную услугу не только литературе, но и самой жизни; в нем доселе имеет она и долго будет иметь ревностным своим последователем каждого здравомыслящего писателя, потому что борьба против болезненного романтического направления в жизни доселе необходима и будет еще необходима и тогда, когда совершенно забудется имя литературного романтизма. Борьба эта продолжится до той поры, когда люди совершенно отвыкнут обольщаться аффектациею в жизни, когда они привыкнут смеяться над всем неестественным, как пошлым, какими бы выгодными фразами и формами ни прикрывалась его внутренняя пошлость.

Малосведущие или увлеченные горячностью споров противники с диким негодованием вопияли, что критика гоголевского периода святотатственно посягает на славу знаменитых людей нашей литературы, что она разрушает пьедесталы, на которых стоят их величественные статуи, топчет в грязь все, чем должна гордиться наша прошедшая литература, и т. д. и т. д. Если б эти крики были справедливы, мы имели бы другую точку очень близкого сходства между деятельностью Надеждина и его бывшего ученика. К сожалению, они основаны только на незнании или беспомысленности. Дело уничтожения литературных авторитетов вовсе нельзя причислять к новым и существенно-важным целям, достигнуть которых хотела критика гоголевского периода, и если она когда делала что-нибудь в этом роде, то разве относительно авторитетов, далеко не первостепенных и нисколько не освященных древностью лет, напр., относительно Марлинского и Полевого. Конечно, для иных и это неприятно, но уж решительно никому не может казаться важным преступлением, по незначительности самого предмета. Что же касается до святотатственного, по мнению некоторых, посягательства на Ломоносова, Державина и других действительно первоклассных писателей, критика гоголевского периода совершенно лишена была возможности придумать что-нибудь в уменьшение их славы по очень простой причине: все, что можно было сказать

в этом смысле, давно уж было высказано или Полевым, или Надеждиным. Обвинять в этом критику гоголевского периода значит приписывать ей заслугу, вовсе не ей принадлежащую*. Ей предстояло дело совершенно другого рода: не увлекаясь ни старым отрицанием, ни еще более старыми панегириками, показать историческое значение различных периодов нашей литературы и замечательнейших ее деятелей, дать нам историю нашей литературы, чего еще не было сделано никем из предшествовавших критиков. Взгляд на литературу, предшествовавшую Пушкину, у критики гоголевского периода был умереннее и снисходительнее, нежели у критики романтического периода; а что касается Пушкина и его сподвижников, критика гоголевского периода почти постоянно должна была противоречить резким приговорам Надеждина. Словом, она не разрушала, а, напротив, воссоздала все, что в прошедшем заслуживало уважения. Иначе и быть не могло: нападать на Ломоносова и Державина, на Карамзина и Пушкина уже было не нужно и неуместно; если когда-то их и превозносили безотчетными панегириками, то это слепое поклонение в образованной части публики давно уже было уничтожено «Телеграфом»⁸ и «Телескопом», и когда явился Гоголь, наступило время говорить о прошедшем с уважением, потому что развившееся из него настоящее стало заслуживать уважения. Так с уважением

* Вообще, надобно заметить, что отрицание, выражающееся печатным образом, принимает формы, гораздо менее жесткие, нежели те, которыми облекается оно в разговорах и частной переписке. Литература в этом случае, как и во многих других, пролагает путь к примирению, как скоро дает простор выражению чувства, которое, оставаясь безвыходным, не знало бы границ своей враждебности. Напрасно было бы воображать, что, например, Полевой, разрушитель устаревших литературных авторитетов, ценил писателей, предшествовавших Пушкину, менее, нежели всякий другой из его современников, имевших хотя некоторое литературное образование и не лишенных вкуса. Напротив, надобно признаться, что каждый из них втихомолку выражался гораздо резче, нежели говорил Полевой. Вот как, например, думал о Державине еще в 1825 году сам Пушкин, великий поклонник старины:

«По твоем отъезде перечел я Державина всего. Вот мое окончательное мнение: этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка. У Державина должно будет сохранить од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Жаль, что наш поэт слишком часто кричал цетухом» (отрывок из письма к Дельвигу, изд. 1855 г., часть I, стр. 156)⁹.

Кажется, резче этого трудно придумать что-нибудь, и, наверное, в «Телеграфе» не найдется ни одного выражения, которое бы хотя сколько-нибудь подходило к словам Пушкина своею жесткостью. А кто знает «Телеграф» и «Телескоп», тот знает, что критика гоголевского периода вообще отзывалась о прежних наших писателях с гораздо большим умеренностью, нежели Полевой и Надеждин.

начинают говорить об отцах, когда потомки их заслужат славу.

Откуда же взялось мнение, что одним из дел критики гоголевского периода было уничтожение прежних авторитетов? Не будем говорить о побуждениях, проистекавших из самолюбия многих раздраженных ею тогдашних писателей, которые находили удобным кричать: «вы не верьте, читатели, тому, что говорит этот человек о моих сочинениях; он бранит не только меня, он бранит и Державина, и Ломоносова, он всех великих писателей (в том числе и меня) хочет унижить»; не будем также указывать других подобных расчетов, какие внушаемы были завистью или враждою: все эти жалкие факты не заслуживают того, чтобы вспоминать о них. Обратим внимание только на законные, так сказать, причины, от которых происходило ошибочное мнение, будто уничтожение прежних литературных авторитетов было одним из существенных дел критики гоголевского периода. «Отечественные записки» имели гораздо более обширный круг читателей, нежели «Телескоп» или «Телеграф»; потому даже из старых читателей многие, не знавшие прежних журналов, из «Отечественных записок» в первый раз вычитали суждения о нашей старой литературе, непохожие на безотчетные и неленные похвалы, какие долго повторялись в разных книжках, называвших себя историями русской словесности, цинтиками и т. п. Сюда надобно причислить и большую часть молодого поколения, не просматривавшего старых журналов и видевшего, что из новых только «Отечественные записки» говорят о Ломоносове и т. д. беспристрастно, между тем как все остальные нападают за то на этот журнал. Молодое поколение, конечно, не ставило этого в вину «Отечественным запискам», — напротив; зато иные сердечно негодовали на молодое поколение, восхищающееся «Отечественными записками», и на «Отечественные записки», поселяющие в молодых людях непочтительность к Ломоносову и т. д. Эти добряки должны были бы помнить, что во время их молодости «Телеграф» говорил о старой литературе без подобострастия, которого они требовали, впрочем, сами не зная, чего требуют; они должны были бы помнить, что уничтожение авторитетов, существовавших до Пушкина, было делом «Телеграфа», а существовавших при Пушкине — делом Надеждина. Что однажды исполнено, того не было уже надобности, да и не могло быть охоты, делать во второй раз. Когда явились Гоголь, Лермонтов и писатели так называемой натураль-

ной школы, возвышать или унижать предшествовавших писателей было уже поздно: надобно было только показать ход постепенного развития русской литературы, в существовании которой до того времени сомневались, и определить отношения между различными ее периодами — вот что, действительно, было делом новым и необходимым. И оно было исполнено Белинским. До него существовала критика, но истории литературы у нас еще не было. Ему обязаны мы тем, что имеем о ней верные и точные понятия.

Но русская литература до Гоголя находилась еще в первых периодах своего развития, из которых каждый предыдущий имеет значение не столько по безусловному совершенству ознаменовавших его явлений, сколько по тому, что служил приготовлением к следующему, более высокому развитию*. Сущность понятий критики гоголевского периода об истории русской литературы состояла в проведении этого основного взгляда чрез все факты. Это послужило для людей, не знавших резкого тона предыдущей критики, новою причиною предполагать, будто бы критика гоголевского периода уничтожает прежние авторитеты: она, видите ли, доказывала, что Державин имеет огромное историческое значение, как представитель екатерининского века в литературе и как один из предшественников и учителей Пушкина, а не говорила — какое преступление! — что Державин имеет более эстетических достоинств, нежели Пушкин. Добрые люди, находившие такие слова дерзкими и унижающими Державина, не догадывались, что этим суждением возвращалось Державину право на славу, которую прежняя критика совершенно отнимала у него, потому что, отрицая эстетические достоинства его произведений, не замечала и исторической их цены. Эти добрые люди не знали того, как судили о Державине писатели пушкинского периода. Тогда без дальних

* Чтобы не подать повода к недоразумению, будто мы без меры превозносим новое насчет старого, скажем здесь кстати, что и настоящий период русской литературы, несмотря на все свои неотъемлемые достоинства, имеет существенное значение, более всего только потому, что служит приготовлением к дальнейшему, будущему развитию нашей словесности. Мы настолько верим в будущее лучшее, что даже о Гоголе не сомневаясь говорим: будут у нас писатели, которые станут на столько же выше его, на сколько выше своих предшественников стал он. Вопрос только в том, скоро ли придет это время. Хорошо было бы, если б нашему поколению суждено было дожидаться этого лучшего будущего. Если мы будем говорить о школе Гоголя, то постараемся объяснить причины такого мнения подробнее.

рассуждений решали, что Державин «кричал петухом», и потому его сочинения «должно сжечь». После таких решений, критика, доказывавшая, что Державин имеет большое историческое значение, уничтожала или восстанавливала его славу? Когда утверждали, что она стремилась уничтожить прежние авторитеты, ей приписывали чужую заслугу, — заслугу, говорим мы, потому что уничтожение слепого поклонения кумирам (кумирами называем старые литературные авторитеты не мы: это опять выражение Пушкина о Державине) всегда бывает великою заслугою для умственной жизни общества. Но у критики гоголевского периода так много своих собственных прав на высокое место в истории литературы, что она не нуждается в присвоении чужих. Кроме беспамятности или незнакомства с прежнею критикою, была, впрочем, еще причина считать Белинского первым человеком, заговорившим у нас, что период Пушкина бесконечно выше предшествовавшей нашей литературы: он излагал свой взгляд на историю русской литературы ясно, определительно и подкреплял его доказательствами, а романтическая критика ни о чем не могла говорить без громких фраз и доказательств не представляла, а вместо того скрашивала свои жестокие приговоры рассуждениями о брильянтах и изумрудах, о потомках Багрима и ярких искрах, вылетающих из могущественной груди русского волкана.

Есть также мнение, будто бы критика гоголевского периода простерла свои отрицания до того, что подвергла сомнению существование русской литературы до Гоголя. Это опять было вовсе не ее дело. Известно, что романтические критики прямо утверждали, что русская литература не существует. Это говорил, еще до появления «Телеграфа», Марлинский. Позднее то же самое еще сильнее высказывал Надеждин. Словом, это была общая тема всей нашей критики до самого того времени, когда русская литература получила новое направление, благодаря деятельности Гоголя. Белинский сначала разделял это мнение, потому что в нем было, для тридцатых годов, очень много справедливого. Но заслуга ли или преступление изобресть мысль: «русская литература доселе не существует», нисколько не принадлежит это изобретение Белинскому. Напротив, ему принадлежит та заслуга, что, когда через несколько лет положение русской литературы изменилось, он первый понял важность этого изменения и сказал: до сих пор надобно было сомневаться в существовании русской литературы; теперь должно положитель-

но сказать, что она существует. Ему, а не кому-нибудь другому досталось на долю высказать это отрадное убеждение потому, что ему, из наших замечательных критиков, первому судьба назначила действовать в такое время, когда безусловное отрицание всего в нашей литературе сделалось уже несправедливо. Вместо обыкновенной фразы, что он был в нашей критике органом отрицания, надобно сказать, напротив, что он первый, сообразно изменившемуся положению нашей литературы, положил границы отрицанию, которое у Надеждина не имело границ.

Когда литература наша в течение гоголевского периода начала становиться тем, чем должна быть — выражением народного самосознания, и, таким образом, достигла, хотя до некоторой степени, цели, к которой стремилась, тогда и предыдущее развитие ее получило смысл, которого нельзя было заметить в нем прежде; только тогда можно было заметить, что одни явления сменялись в ней другими не напрасно и не случайно, что она имеет свою историю. Критика гоголевского периода заметила и высказала это. Она первая начала утверждать, что наша литература постоянно развивалась, что ее периоды имеют между собою связь, что Державин и Пушкин явились не случайно, как то казалось прежде, и, как мы заметили, Белинский был первым историком нашей литературы*. Недаром его первая значительная статья, отрицающая существование русской литературы, содержанием своим имела подробный обзор ее фактов от Ломоносова до Пушкина.

Но если мы говорим о том, что критика гоголевского периода положила границы отрицанию и дала нам в первый раз историю русской литературы, считавшейся до того времени не более, как случайным, безжизненным и почти всегда бессмысленным отражением различных явлений иноземных литератур, то мы говорим это о позднейшей поре развития критики гоголевского периода, когда она достигла уже полной самостоятельности и когда положение русской литературы существенно изменилось влиянием Гоголя, деятельностью Лермонтова и многочисленных писателей нового поколения, воспитанных отчасти

* Интересно проследить, по статьям Белинского, как изменяющееся положение нашей литературы постепенно приводило критику от надеждинского отрицания, справедливого в свое время (1834), к убеждению, сделавшемуся столь же справедливым через десять лет: «есть у нас, наконец, нечто достойное называться литературою; она получила, наконец, значение, какого не имела прежде, и мы теперь можем видеть, к какому

Пушкиным и Лермонтовым, а более всего творениями Гоголя и критиком Белинского. Но в 1834—1836 гг. это будущее едва можно было неопределенным образом только предвидеть, и почти все оставалось в настоящем неподвижно. Не было еще достаточных причин существенным образом изменять мнений, представителем которых был Надеждин, и автор статей о Пушкине начал, как мы заметили, почти тем же самым, что говорил Надеждин. Как то всегда бывает, если человек молодого поколения принимает мысль, выраженную его учителем, он придавал этой мысли еще больше определительности, нежели она имела у самого Надеждина.

Однако, по исторической необходимости, это скоро должно было измениться: новый период для русской литературы уже начинался. Мы видели, как быстро и верно предугадывал ученик Надеждина, по «Миргороду» и «Арабескам», какого писателя мы будем иметь в Гоголе; скоро «Ревизор» должен был оправдать это предчувствие. Кольцов уже явился, Лермонтов скоро должен был явиться. Мы видели, какое существенное различие между учи-

результату вели, какой смысл имели те литературные явления, которые прежде казались бесплодными и случайными». Вот некоторые выписки, приблизительно обозначающие эпохи этого движения:

1834. (До Гоголя.) «У нас нет литературы». *Литературные мечтания*, «Молва», 1834 г., № 39, стр. 190.

1840. (Гоголь издал свои повести и «Ревизора», но еще не имеет решительного влияния на литературу.) «У нас нет литературы в точном значении этого слова, как выражения духа и жизни народной, но у нас есть уже начало литературы». *Русская литература в 1840 году*, «Отечественные записки», 1841 г., том XIV, Критика, стр. 33.

1843. (Изданы «Мертвые души»; школа Гоголя начинает занимать видное место.) «Несмотря на бедность нашей литературы, в ней есть жизненное движение и органическое развитие; следовательно, у нее есть история. Мы желаем хоть намекнуть на это развитие и проложить другим дорогу там, где еще не протоптано и тропинки». *Первая статья о Пушкине*, «Отечественные записки», 1843 г., том XXVIII, стр. 24.

1847. (Влияние Гоголя решительно торжествует.) «Было время, когда вопрос: есть ли у нас литература? не казался парадоксом и многими разрешен был в отрицательном смысле... Один из величайших умственных успехов нашего времени в том и состоит, что мы открыли, что у России была своя история. То же и в отношении к истории русской литературы... Литература наша дошла до такого положения, что успехи ее в будущем, ее движение вперед зависят больше от объема и количества предметов, доступных ее заведыванию, нежели от нее самой. Чем шире будут границы ее содержания, чем больше будет пищи для ее деятельности, тем быстрее и плодотворнее будет ее развитие. Как бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрелости, то уже нашла, нащупала, так сказать, прямую дорогу к ней; а это великий успех с ее стороны». *Взгляд на русскую литературу*, «Современник», 1847 г., № 1, Критика, стр. 4 и 28.

телем и учеником высказалось во взгляде на значение Гоголя и достоинства первых стихотворений Кольцова: один еще не замечал фактов, на которых другой уже основывал свои понятия о русской литературе.

Но коренное различие между понятиями ученика и учителя о русской литературе заключалось тогда (1835—1836) не только в том, что один замечал необыкновенную важность новых фактов, на которые другой медлил обратить надлежащее внимание: и те коренные воззрения, на основании которых произносится суждение о фактах, были уже не одинаковы. Сотрудник «Телескопа» сделался приверженцем Гегеля, между тем как издатель, не будучи враждебен этому новому фазису развития немецкой науки, оставался, однако ж, в сущности учеником Шеллинга.

Биографические монографии, необходимость которых в настоящее время чувствуется живее, нежели когда-нибудь, должны объяснить нам, когда и как начались тесные дружеские отношения между Н. В. Станкевичем и Белинским. Мы теперь можем положительно сказать только, что они начались очень рано¹⁰; что первым распространителем энтузиазма к Гегелю между молодым поколением в Москве был Станкевич; что он был другом Кольцова; что когда Надеждин, в 1835 году, уехал за границу и заведывание «Телескопом» поручил Белинскому, тотчас появились в этом журнале стихотворения Кольцова, перед тем самым временем отысканного Станкевичем в Воронеже, и чаще прежнего стали являться упоминания о Гегеле, а скоро было напечатано и обширное изложение системы этого мыслителя. Наконец, самое содержание статей, писанных в 1835—1836 годах молодым сотрудником Надеждина, обнаруживает, что он тогда уже находился под сильным влиянием этой новой у нас философии. Вообще, нельзя не видеть, что, в это время, если сохранялись еще в образе воззрений Белинского многие черты непосредственного родства с понятиями, собственно принадлежащими Надеждину, то еще гораздо более находилось тождественного с теми идеями, которые потом с такою пылкостью излагались людьми молодого поколения в «Московском наблюдателе»¹¹, и, во многих частностях продолжая быть учеником Надеждина, его сотрудник совершенно принадлежал всеми стремлениями своими новым идеям, тогда проникавшим в молодое поколение.

Различие в характере книжек «Телескопа», изданных в отсутствие Надеждина его сотрудником, от предыдущих

номеров бросается в глаза. Оно так резко, что если бы издатель был человек неподвижный в умственной жизни, то, по возвращении, остался бы решительно недоволен направлением, приданным его журналу. Но, сколько то видно из фактов, представляемых самим журналом, этого не было. Напротив, оправдывая перед публикою неисправность выхода журнала в свое отсутствие непредвиденными обстоятельствами, Надеждин указывал на достоинство содержания изданных без него номеров, как на доказательство того, что перед отъездом им были приняты все меры, чтобы читатели ничего не потеряли от его поездки за границу. Сотрудник, издавший эти номера, сохранил свое положение в журнале, даже приобрел на его направление более влияния, нежели имел до поездки Надеждина. Критика, относящаяся к произведениям изящной словесности и литературным журналам, перешла совершенно в руки Белинского и получила большее развитие. Себе Надеждин оставил только критические разборы ученых сочинений. Все, что начато было Белинским в отсутствие редактора, продолжалось и при редакторе, до конца «Телескопа». Молодые сотрудники, введенные в журнал Белинским¹², продолжали помещать свои статьи в нем и увлекали журнал вперед; Надеждин отдался молодому поколению. Разногласия от литературных причин не было и, сколько можно судить по самому журналу, не предвиделось*.

«Что было бы, если бы не случилось того, что случилось?» Что было бы, если бы «Телескоп» не прекратился? Вопросы подобного рода не пользуются репутациею особенного глубокомыслия, и ответы на них не принимаются в особенное уважение, хотя очень часто такие вопросы сами собой навязываются воображению, и ответы на них иногда очень легко подсказываются здравым смыслом.

* Эти выводы основываются на материалах, представляемых содержанием «Телескопа» и «Молвы». Мы очень хорошо понимаем, что один этот источник недостаточен и должен быть дополнен воспоминаниями лиц, бывших тогда близкими к «Телескопу»; и мы были бы очень рады, если бы такие воспоминания явились в печати, хотя бы и обнаружилось ими, что в том или другом случае мы ошиблись. Впрочем, каковы бы ни были отношения редактора «Телескопа» с его главным сотрудником и молодыми друзьями последнего, литературная сторона этих отношений, которая здесь исключительно важна для нас, с удовлетворительною точностью характеризуется данными, находящимися в самом журнале, и выводы, представленные выше, едва ли могут быть существенно изменены биографическими воспоминаниями.

Признаемся, нам хотелось бы, подобно Кифе Мокиевичу, «обратиться к умозрительной стороне» и поразмыслить о «философическом», по его выражению, вопросе, который нам представился. Но мы вспомнили одно из основных положений гегелевой философии, к которой приводит нас «Московский наблюдатель»: «все действительное разумно и все разумное действительно», и заключили, что продолжение существования «Телескопа» было бы неразумно¹³. Потому, оставляя умозрения, будем продолжать историю «разумной» действительности, в «Московском наблюдателе» — редкий случай! — являвшейся на самом деле разумною.

В «Телескопе» молодое поколение пользовалось очень значительным влиянием, получило, наконец, решительный перевес, но все еще не было и не могло быть полным хозяином. По прекращении этого журнала, оно несколько времени не имело органа в литературе, но в 1838 году получило в полное свое распоряжение «Московский наблюдатель». Материальные средства этого журнала были в то время совершенно истощены жалким трехлетним существованием. Молодое поколение располагало богатым запасом энтузиазма и дарований, но не капиталами; потому «Московский наблюдатель» скоро прекратился. Но его кратковременная жизнь при второй редакции была блистательная. Он был прекрасным выражением стремлений молодежи, пылкой и благородной. Главными сотрудниками Белинского были в этом журнале: г. К. Аксаков, г. Боткин, г. Катков, Ключников (— Θ —)¹⁴, Красов и г. Кудрявцев. Невозможно отказать в уважении и сочувствии кружку, состоявшему из таких людей. А мы еще пропустили некоторые имена, еще более выразительные*. Душою их круга был Станкевич. Заведывание журналом принадлежало Белинскому. Все эти люди были тогда еще юношами. Все были исполнены веры в свои благородные стремления, надежд на близость прекрасного будущего. Мудрость устами Гегеля, все разгадавшего, как им казалось, все примирившего Гегеля, раскрыла перед ними тайны, дотоле непостижимые людям. Поэзиею упоены были их сердца; слава готовила им венцы за благую весть, провозглашаемую от них людям, и, увлекаемые силою энтузиазма, стремились они вперед:

Как смело, с бодрою охотой,
Мечты надеясь досягнуть,

* Например, Кольцова.

Еще не связанный заботой,
Пускался юноша в свой путь!
Как он легко вперед стремился!
Что для счастливица тяжело?
Какой воздушный рой теснился
Вкруг светлого пути его!
Любовь с улыбкой благосклонной
И счастье с золотым венцом,
И слава с звездною короной
И в свете истина живом...*

Могучая сила
В душе их кипит;
На бледных ланитах
Румянец горит;
Их очи, как звезды
По небу, блестят;
Их думы — как тучи;
Их речи горят.
И с неба, и с время
Покровы сняты...
Шумна их беседа
Разумно идет;
Роскошная младость
Здоровьем цветет...**

И кто хочет перенестись на несколько минут в их благородное общество, пусть перечитает в «Рудине» рассказ Лежнева о временах его молодости и удивительный эпилог повести г. Тургенева.

СТАТЬЯ ШЕСТАЯ

«Московский наблюдатель» был передан в распоряжение друзей Станкевича уже тогда, когда материальные средства к продолжению издания были совершенно истощены и только бескорыстная энергия новых сотрудников могла продлить еще на год существование журнала, доведенного до гибели прежнею редакцией. Но этот последний, слишком краткий, период жизни «Московского наблюдателя» был таков, что никогда еще ничего подобного, за исключением разве последних книжек «Телескопа», не бывало в русской журналистике. Даже «Телеграф» в свое лучшее время не был так проникнут единством задушевной мысли, не был одушевлен таким пламенным стремлением служить истине и искусству; и если бывали у нас до

* «Идеалы» Шиллера, перевод К. Аксакова, «Московский наблюдатель», т. XVI, стр. 543.

** Из стихотворения Кольцова в память Станкевича¹⁵.